

Наталья БАРАНСКАЯ

## Автобус с черной полосой

### Повесть

*И мрачный год, в который пало столько  
Отважных, добрых и прекрасных жертв,  
Едва оставил память о себе...*

Пушкин

*Узнала я, как опадают лица,  
Как из-под век выглядывает страх,  
Как клинописи жесткие страницы  
Страдание выводит на щеках.*

Ахматова

Страшные сны бывают простыми и короткими. Например, на земляных буграх, над черными ямами, стоят гробы из неструганых досок. Или другое: лежит мертвая голова, губы и веки прошиты крупными черными стежками.

А бывают страшные сны удивительно сложные - целые повести. Пережитое переплетается в них с необычным, невозможным, фантастическим. Они могут прерываться и продолжаться вновь. И даже не одну ночь. И тогда, намучавшись страхом, особенно ждешь утра, света и солнца.

Приснилось, что я перехожу площадь и попадаю в затор, пробираюсь между машинами, и вдруг на меня пятится громадный "Икарус". Сейчас прижмет меня к другой машине, еще секунда и конец.

Но тут передо мной открывается дверка небольшого автобуса, я успеваю вскочить, дверца захлопывается, машина трогается, я падаю на сиденье — я спасена.

Только теперь замечаю, где я. Запах привядшей зелени, оторванные листья и цветки на полу, скамьи по стенам, пустая середина. Похоронный автобус. Автобус с черной полосой, которую я не заметила. Автобус на пути с похорон.

И вот он набирает скорость — все быстрее и быстрее, сначала по улицам, потом по шоссе, мимо больших, мимо маленьких домов. Вот кончились дома, пошел лес, лес справа, лес слева, лес и лес. А машина бежит и бежит, жужжит и жужжит мотор. Куда мы? Зачем?

### Ночь первая

*Подозрителен, озлоблен. Считает себя здоровым, всех остальных больными. Временами агрессивен.*

*История болезни*

Лес, деревня, опять лес. Автобус сбавляет скорость, сворачивает. Мы в лесу, но, чувствуется, едем по асфальту. Редкие молодые сосны, ровные тонкие стволы. Вдоль дорожки фонари на деревянных столбах роняют круги желтого слабого света. Сквозь ветви еще видно меркнувшее вечернее небо, и на зеленоватом его краю вырисовываются силуэты крутых темных крыш.

Автобус, мягко тряхнув, съезжает с асфальта, дает сигнал и останавливается. Сипло вздохнув, открывается дверца. Я свободна, спускаюсь на землю.

Песчаная дорожка ведет к широкому крыльцу, к большой застекленной веранде. Дверь открыта, яркая лампа освещает чистые стекла в мелком

узорчатом переплете, видна вторая, внутренняя дверь, обитая коричневым.

Возле кабины стоит шофер, курит.

- Куда вы меня завезли? - Я раздражена, уже забыла о благодарности.

- Идите, идите, - отвечает он мирно, - там вас ждут.

И, подтверждая его слова, вторая, глухая дверь медленно открывается, приглашая меня в дом. Я поднимаюсь по ступенькам. Как-то жутковато, куда я иду, что там в доме?

- Не бойтесь, - говорит шофер, - там только мамаша, старая инвалидка, да ее прислуга, тоже старуха.

Чья мамаша, какая инвалидка, какое имеет все это отношение ко мне? На наружной стене веранды, рядом с открытой дверью, вижу мельком медную дощечку. На одной, освещенной, ее стороне прочитала "Проф... В. М. Кля...", другая сторона в тени. Но и это, увиденное, вызывает в моей памяти слабое движение, будто задето что-то давно забытое, неприятное, заключенное в этом влажном звуке "кля". "Кля... Кля...". Нет, не помню, не знаю.

Вхожу в прихожую - деревянная стоячая вешалка, подставка для зонтов. Дверь бесшумно за мной закрывается и так же бесшумно распахивается другая, ведущая в комнату.

- Как я благодарна вам, что вы приехали, - слышу я дрожащий голос из сумеречной глубины.

При слабом свете лампы-торшера и нескольких свечей, горящих поодаль, я не сразу могу разглядеть старую женщину в кресле с высокой спинкой. Она склоняется мне навстречу, будто пытается встать, но только протягивает руки. Повинуясь ее движению, я слегка прикасаюсь к холодным пальцам, и они тотчас цепко захватывают мои.

- Идите, идите, садитесь поближе, вот сюда. Я

так ждала кого-нибудь. Как хорошо, милая Вера Константиновна, что вас разыскали. Вы расскажете мне все-все подробно... Такое несчастье, такое горе... Я не могла поехать, ноги совсем отнялись. Такое горе...

Она заплакала, не закрывая лица, всхлипывала, искала платок под ручкой кресла. А я молчала, испуганная. Что значит это странное недоразумение? Почему "Вера Константиновна"? Меня зовут Елена Федоровна. Видно, какая-то давняя и забытая знакомая ожидалась с похорон. С похорон близкого старухе человека. Может быть, сына? Сказал же шофер "мамаша". Но что я могу рассказать бедной? У меня не хватило духу сразу признаться, что я не та, за кого меня принимают. Я сидела растерянная, немая.

Она вытерла слезы, судорожно вздохнула, заговорила опять.

- Умереть в шестьдесят семь лет... Теперь так долго живут. У него были все условия. И болел редко, и врачи следили. Конечно, нервы... Теперь у всех нервы. И вот...

Она замолчала, борясь со слезами. Я отвела глаза. Взгляд мой притянули горящие свечи. Три цветные свечи в бронзовых канделябрах горели перед большой фотографией, прислоненной прямо к стене на низком комодe.

Я увидела гладкое, без морщин, лицо, обритую голову, удлинённый череп, напоминающий яйцо или огурец, серповидный небольшой нос, оседланный толстой оправой очков. В колеблющемся пламени свечей я не могла разглядеть лицо и подошла ближе. Теперь были видны за прямоугольниками толстых стекол маленькие подслеповатые и слегка косящие глаза.

- Да-да, это его фотография. - Старуха повернулась в кресле. - Правда, сделанная почти десять

лет назад, к юбилею, но другой большой у меня пока нет.

Я смотрела на лицо в полумаске очков, и опять в моей памяти отозвалось что-то глухо и смутно. С этим человеком было связано какое-то неприятное воспоминание, что-то клейкое, липкое, но что, я вспомнить не могла.

- Расскажите мне, прошу вас, всё-всё... - она подняла красные наплаканные глаза.

- Что же вам рассказать? - выговорила я медленно, мучаясь от жалости, от неловкости и не решаясь покончить с этим страшным водевилем.

- Много ли сотрудников было?

- Да, конечно, достаточно.

- А траурный митинг?

- И митинг был, и все, как полагается.

- Вы не очень щедры, - углы ее рта опустились, - а как выступали, что говорили? Впрочем, в крематории много говорить не приходится.

Ее замечание избавляло меня от подробностей, но все же она хотела что-нибудь услышать.

- А что, что говорили?

- Ну, о заслугах говорили, о большом вкладе в дело... Об успешном внедрении в практику ценных идей... О потере, которую понес коллектив...

Я представляла себе похороны, на которых была год назад, вспомнила и другие. На всех похоронах примерно говорят так.

- А о методе вспомнили? О его методе?

В голосе ее послышались тревожные нотки, что-то ее волновало. Я поспешила ее успокоить.

- И о методе говорили тоже.

- Именно как о его методе?

- Да, да, как о его...

Внезапная догадка заставила меня спросить:

- А разве это был не только его метод?

Мне захотелось узнать подробнее - в чем дело, что за метод.

- Нет-нет, это все болтовня, досужие разговоры, совершенное искажение фактов. Клевета и происки. Соавтора у Василия Митрофановича не было. Этот человек прицепился случайно. Да и вообще это больной человек - шизофреник. Впрочем, вы должны помнить эту историю... Что-то я хотела еще... Да, венков было много?

- Много, очень много.

- А на лентах, что написано на лентах?

Зачем это ей? Неужели и в таком горе человека не оставляет тщеславие?

- Право не знаю, не приглядывалась. "Дорогому, незабвенному..." Все, что пишут обычно.

Она обиженно поджала губы, недовольная мной.

- А этот... этот человек... шизофреник - он был там?

Я могла бы ответить просто "не видела". Но теперь мне захотелось узнать о "шизофренике". Я слукавила:

- Разве он вышел из больницы?

- Вероятно, уже вышел, столько времени прошло. Василий Митрофанович положил немало сил, чтобы устроить его на лечение. Но ничего, кроме неприятностей, эти хлопоты ему не принесли.

Она сказала это резко, убежденная в правоте Василия Митрофановича - ее сын, конечно, всегда прав. А у меня в памяти смутно зашевелилась история трехлетней давности. Некий зубр от науки обобрал молодого ученого, а потом упрятал в психиатрическую больницу. Может, как раз этот случай?

- Да что я, ведь вы устали - такой путь. Пожалуйста, закусите, прошу вас к столу. Я готовилась принять нескольких человек... Я надеялась...

Она качнула медным колокольчиком. В глубине комнаты скрипнула дверь, и вошла женщина в белом фартуке.

- Марфа, проводи гостью к столу. Присаживайтесь.

Она указала на стол под белой скатертью, стоявший в стороне. Марфа сняла крахмальные салфетки, прикрывавшие блюда - бутерброды с сыром, ветчиной, икрой. Зажглась хрустальная люстра, заигравшая блестящими подвесками, вспыхнули искрами бокалы, графины с вином и вазы с фруктами.

- Нет-нет, спасибо, я не хочу, уже поздно.

Началось утомительное пререкание, я отказывалась настойчиво, невежливо, хотя желудок мой урчал от голода.

- Садитесь! - прикрикнула на меня хозяйка.

- Нет-нет, не могу. Я на диете. Ничего такого не ем...

Я чуть ли не руками махала, отказываясь.

- Марфа, чаю! Крепкого, горячего и сухарей!

"Вот привязалась!" Но тут приоткрылась дверь в глубине, и мужской голос сказал тихо, но твердо:

- Ехать надо, поздно уже. Пока доберемся, мне еще машину сдавать.

Я простилась, поклонившись старой женщине. Даже не ей - ее горю. Взглянула издали на фотографию. Как будто я знала этого человека, покойника. Может, его, а, может, только его фотографию. Или кого-то похожего?

- Садитесь со мной в кабину, застынете там, продует.

Шофер открыл дверцу. Не хотелось, но я села рядом.

- Чего ради вы меня сюда завезли?

- Да просила она - "привези, говорит, непременно человек трех из провожающих". А они разбежались все.

"Врет, наверное". Зло меня забирало. "Наелся, вон весь подбородок в масле".

Он будто подслушал мои мысли.

- А вы как - покушали?

- Нет, не покушала.

- Да ну?! А я знатно порубал.

Я молчала, но шоферу хотелось поговорить, а может, он просто боролся с дремотой.

- Дача у них богатая. Живут круглый год. И еще в Москве квартира. Один жил, с матерью. Жена от него ушла.

Я слушала вполуха, все примеривала фамилию, так и не прочитанную: "Кля...пин, Кля...лин, Кля...мин, Кля...тов, Кля...пов". Теперь это упражнение займет меня надолго.

- Видать, хорош был гусь, если никто помянуть не пожелал.

- Вот вы и помянули.

- Я что, я человек случайный.

- А я и того случайнее. Впрочем, я поминать не пожелала.

Я все еще злилась.

- Случайный? Это как посмотреть. Не открой я вам тогда дверцу, на площади, вы, может, были не здесь, а там, вместе с этим профессором, - Клялин ему фамилия. Значит, вам судьба выпала сюда попасть.

Он еще меня поддразнивает.

- А выйти раньше мне судьба не велела? Вы что, остановить не могли?

- Не мог. Скажу честно: задаток я со старухи получил и в полный расчет четвертную. - Он ухмыльнулся. - А вы, если голодные, возьмите за той вон крышечкой сверток, там у меня булка с колбасой. Хорошая колбаса, полукопченая.

Я ничего не ответила. "Клялин, Клялин, нет, не знаю".

Шофер примолк. На шоссе было темно, вспыхивали встречные фары, слепили глаза. Не до разговоров.



Завтра узнаю, кто такой Клялин. Спрошу, а может, и вспомню. Было что-то, о чем я знала. Знала, но забыла.

...А машина бежит и бежит, жужжит и жужжит мотор. Автобус несется в темноту.

## Ночь вторая

*У гроба убийцы собираются  
его жертвы.*

*Поверье*

...Лес, деревня, опять лес. А потом только лес да лес.

В автобусе запах увядших цветов, с черного постаментов свешиваются надломленные стебли и тонкие стрельчатые листья. Печальный автобус возвращается с похорон.

Вдруг замечаю - я здесь не одна. На боковых скамьях сидят тихие люди в темных одеждах. Лица их бледными пятнами светятся в полутьме. Мужской голос сказал: "Нас здесь шестеро". Девичий голос ответил: "Нет, - семеро". Мужчина повторил спокойно: "Нас шестеро", и девушка подтвердила тихо: "Да, шестеро". Считаю по едва различимым лицам - шесть человек. Я не в счет.

А мужской голос продолжает: "Вот мы и встретились. Так расскажем все, что было. Каждый о себе. О себе и о нем".

- Куда мы едем? - спросила я.

Никто не ответил.

Вслушиваюсь в голоса моих спутников. Теперь, когда я вспоминаю и записываю слышанное в ту ночь, я называю это рассказами, но это были не рассказы, и как назвать эти неровные отрывочные речи, прерываемые долгим молчанием, то замедлявшиеся, то убыстренные, - не знаю. Невозможно

также передать странную отрешенность, бесстрастность голосов, падающих до шепота, или вдруг неожиданно наполняющихся силой. Я передаю содержание услышанного, передаю по-своему, как могу.

Мне казалось ночью, что слова их падали на привядшую зелень, на останки цветов, подобно каплям дождя – весомо, мерно. И я надеюсь, что слова эти не пропадут бесследно, как не пропадает дождевая вода, давая жизнь растениям или превращаясь в облака, чтобы те опять напоили почву.

Но вернемся в ту ночь, в автобус с черной полосой.

- ...расскажем все, что знаем, друг другу...

Начала молоденькая девушка с косой, перекинутой через плечо. На круглом лице ее без румянца странно горели распухшие потрескавшиеся губы.

- Меня звали Таня. Мне было шестнадцать.

Мы с Кляминым учились в одном классе. Он был активный комсомолец, но ябеда. Последний год в школе я дружила с мальчиком, Алешей. Мы возвращались вместе с школы. Он провожал меня, потом я его. Мы долго прощались. Когда были морозы – в парадном. Он грел мои руки, дышал, тихонько прикасался губами.

Клямин прислал мне как-то на уроке записку. Он писал, что влюблен в меня, хочет со мной целоваться. Я порвала записку, на переменке бросила в него обрывки. С того дня он стал ходить за нами. Ходит и ходит. Он нам мешал. Алеша просил его не ходить. Потом хотел его побить, но я не дала. Васька Клямин не отставал от нас. Я сказала ему: ты мне прстивен, ты – гадкий.

Он написал письмо моей маме. Печатными буквами, без подписи. Грязное письмо. Грязная ложь была в нем.

Мама застала нас с Алешей в подъезде, мы про-

щались. Мама начала нас бранить – грубо, обидно. Я заплакала. Алеша пытался защищаться, но мама не дала ему говорить. Дома она ругала меня скверными словами. Дала прочитать письмо. Я узнала Клямина: он лучше всех в классе подписывал чертежи, только в букве "В" не получался завиток. По этой букве я узнала его. Все письмо было полно злобой. Это была месть.

Всю ночь я проплакала, не пошла в школу. Мама ушла на работу, я была одна, мне было так плохо, так горько. Невозможно было терпеть. Я написала на обороте письма: "Это ложь, грязная ложь. Мы даже не целовались ни разу. Алешенька, прощай, мой хороший. Не сердитесь на меня никто". У мамы была бутылка с каустиком, наклейка "Осторожно – яд". Я выпила из этой бутылки. Сожгла рот, горло. Отвезли в больницу, мама сидела возле меня два дня. Говорили – не выживу, но стало лучше. На третий день пустили Алешу. Он держал меня за руку, шептал хорошие слова. Как я жалела, что это сделала. Мама просила прощенья. На четвертый день мне разрешили съесть немножко супа. А на пятый кровь хлынула горлом – я захлебнулась.

Меня звали Таня. Мне было шестнадцать.

Меня звали Федор. Мне было двадцать два.

Это сказал молодой мужчина со впалыми щеками и короткой неровной стрижкой. Рядом с ним сидели двое – такие же изможденные лица, так же полосами остриженные головы. Не понятно, сколько им лет, двадцать, сорок?

– Меня звали Яков, мне было двадцать три, – сказал второй.

– А меня Борис, двадцать два было мне (это третий).

Федор рассказывал:

- Мы с Кляминим познакомились так: он приехал в Москву - поступать в вуз, экзамены не сдал, пошел к нам на завод. Борис тоже был наш, заводской. Мы с ним сдружились в армии. Все трое были комсомольцами, в одной ячейке.

Клямин прилепился ко мне. Был он бесквартирный, жил у дальних родственников. А я был сам себе хозяин - комнатку мне дали по ордеру, зарабатывал больше, чем он. У меня разряд был, а он только учился к станку подходить. Клямин часто просиживал у меня вечера, оставался ночевать. Спали на одной койке. Много у меня не было, но что было, я с ним делил: чай, сахар, хлеб и папиросы "Звездочка" тоже.

С завода Клямин скоро ушел. Плохо было со зрением. Пенсне стал носить, чудак! Сказал - должен искать другую работу. Но в ячейке пока оставался. Он почти совсем у меня поселился. Даже приходилось иногда просить - поночуй у своих. Девчонка у меня была, Зойка. Сердилась, если долго не зову. Не мог я его часто прогонять, если он почти бездомный. И без работы все еще. Отец стал ему немного присылать, и он решил снова готовиться к экзаменам. Целые дни проводил в читальне, занимался. Говорил, летом сдаст, а потом будет меня учить.

Вечерами часто собирались у меня. Мы с Борисом, Клямин. Потом он стал приводить Якова - познакомились в библиотеке. Яша был студентом. Много говорили, спорили. Было о чем говорить - газеты публиковали интересные дискуссии, вопросы цеплялись один за другой.

Время было необыкновенное. Все кипело. Мировой капитал разлагался на глазах. В нашей стране шло строительство социализма. Закладывались грандиозные стройки на Севере, на Юге. Мы то намеревались учиться, то собирались ехать на Маг-

нитку. Хотелось делать что-то необычное, большое. Душа пела.

Тогда я писал стихи. Читал только Борису. Прочел как-то Клямину. Он похвалил. Я обрадовался – он был выше меня по образованности, знаниям. Я из простой семьи: отец – рязанский рабочий, мать – крестьянка-беднячка. А Клямин из культурной прослойки: отец – ветеринарный врач, мать – кассир в театре. Деда у него тоже были из образованных. Один работал суфлером, другой был служителем культа. Это Клямин доверил мне потом. Из-за этого деда-попа он покинул родной город. Дед сделал глупость: окрестил сына, отца Клямина, Мефодием. Был Клямин Василием Мефодиевичем. Отчество это вызывало лишние вопросы, не пропускали такое имя без внимания. Клямин беспокоился, как пройдет его анкета в институте. Думал изменить отчество в паспорте: кто-то брался стереть старое, написать другое. Я говорил: разве можно обманывать партию? Он отвечал: не беспокойся – перед партией я заслужу в десять раз.

Занимался он как зверь, на работу устраиваться раздумал. Говорил: надо бить наверняка. Как-нибудь, говорил, перебьемся. Значит, и на меня надеялся.

Заговорил Яков:

– Клямин был на редкость усидчивым, а также живым, энергичным, общительным. Маленький, юркий, блестел своими стеклышками по всему читальному залу. Прямо накидывался на людей: рассказывал, забрасывал вопросами, давал прочитать интересную статью, страницу из книги, спрашивал мнение, заглядывал в конспекты, находил ошибки, давал советы. Меня он закрутил как смерч. Я не успел еще понять, хочу ли я с ним знакомиться, а мы уже стали приятелями. И к Феде он меня затащил запросто, будто к себе домой.

Федя мне понравился. Славный русский парень: голубоглазый, светло-русый, простой. Скромный и отзывчивый. Стихи у него были слабоваты, правда, но душа чистая, добрая.

В это время начался большой судебный процесс. Газеты полны были отчетами. Конечно, мы читали, обсуждали, спорили. Многое было для нас непонятно, казалось странным. Хотелось разобраться. Клямин предложил: давайте представим себя адвокатами подсудимых, адвокаты всегда более объективны, чем обвинители. Это поможет нам вникнуть в суть дела, понять позицию врага. Федя отказался наотрез – он не может защищать вредителей. Борис сказал: попробую, но вряд ли выйдет. А мы с Кляминым взялись. Он свои речи решил записывать: так, мол, надо, чтобы не растерять мысли. Мне не хотелось, но он уговорил – пиши, пиши. Борис сказал, что у него получается не защита, а обвинение. Клямин объяснил это тем, что мы плохо знаем позиции врагов. Он принес несколько брошюр, к тому времени запрещенных, из оппозиционной литературы – "расшевелить мозги". Где взял – секрет.

Занятия нас увлекли. Нравилось говорить свободно, думать вслух, спрашивать и сомневаться открыто. Все это было необычно. Мыслей о незаконности наших занятий у нас не было. Мы были молоды, нам хотелось все делать самим. Думать – тоже.

Федор продолжал:

– Тут произошел случай, как будто пустяк и к делу не относится, но он меня удивил и насторожил. Я никому не сказал тогда ничего. Зря не сказал.

Клямин постоянно бывал без денег. Родители присылали мало. Он часто занимал у меня и часто забывал отдать. Я не напоминал – все-таки я зара-

батывал, он – нет. А тут подошло и у меня. Говорю: "Васька, нет ли у тебя трешника?" Нет, говорит, откуда? Мне очень было нужно. Я познакомился с девушкой – Надюшей. Ребятам не сказал, они бы посмеялись – то Зоя, то Надя. Но это было другое, совсем не то, что с Зоей. Серьезнее. Хотелось пойти куда-нибудь с Надей – в театр, в кино. Пойти культурно. А я как раз без денег.

Спросил у Василия, но что делать – нет так нет. Лег Клямин спать на мою койку, а я сидел, читал Стендаля. Надя со мной про роман его заговорила "Красное и черное", а я не знал. Зачитался. Курить захотел, хватился – пустая пачка. Ну, возьму у Васьки: залез в карман пиджака и вдруг вытаскиваю не "Звездочку" нашу любимую, а дорогие – "Сафо". И вместе с коробкой три червонца. Три бумажки. Неразменные. Положил все обратно. Расстроился, даже курить раскотелось. Ничего ему не сказал, только утром спросил еще раз про деньги, нет ли хоть рубля? Нет. И не ждешь вскоре? Откуда, говорит, еще рано.

Гадко мне было, но я себя уговорил: деньги эти, значит, не его, а что и как, не мое дело. И я перестал об этом думать.

– Когда это было, с деньгами? – спросил Яков.

– За неделю, примерно, до страшного вечера.

В тот вечер, в четверг, вы должны были прийти. И не пришли. Я как-то часы упустил и все еще ждал, хоть назначенный час прошел. А я потому был рассеян... Мы с Надюшей накануне ходили в театр. Она меня позвала и билеты взяла сама – в оперу. Оперу я не любил, в ней нет жизненной правды, но Надя позвала, и я согласился с радостью. Взглянул в среду утром – одет я не для театра. Надо было подготовиться. Торопился. Даже рубашку не досушил, ходил в сырой. К занятиям нашим не готовился, забыл. И газет не смотрел.

А после театра ходили мы с Надей почти до утра по улицам, по мостам. Ночь не спал и весь день в четверг был как шалый. Стихи у меня сочились про любовь, радостные. Кажется, так:

На лугу зеленом  
Белая березка,  
Девушка-невеста,  
Ласково манила  
Гибкими ветвями.

А дубок у леса  
Отвечал ей строго:  
Не крутись под ветром  
На лугу зеленом,  
Все равно не подойду,  
Даже прикоснуться,  
Даже улыбнуться,  
Даже шевельнуться  
Не могу...

На душе у меня было празднично, светло. Может, и потому, что я к Наде близко не подошел, не прикоснулся. Удержался. А ведь у нас как было принято – "без черемухи". Как у меня с Зойкой: потискал и на кровать. Вот и вся любовь.

За этим новым, что пришло ко мне с Надей, я позабыл про наш четверговый сбор. Говорю: время потерял. Мы договаривались в восемь, был десятый час, а я все еще ждал. Вдруг пять звонков – спешных, нервных. Пять – ко мне. Открываю – Клямин. Какой-то странный, не садится, по комнате бегаёт. Ребят нет, я его спрашиваю, не отменил ли он наш сбор? А он заорал: как я мог отменить? Как? Как? Глаза скосил к переносью, он косил при сильном волнении. Я хотел выйти за куревом, пока ларек не закрыт. Он мне дорогу заступил, за руку схватил: погоди, куда ты, а ребята? Я ему: "Видишь, их



нет. Я быстро". А он вытащил свои папиросы - опять "Сафо", - успеешь, не бегай, у меня еще есть".

Говорил он бестолково, отрывисто, щеки горят - странный. Но я и тогда не встревожился, хоть и отметил про себя. Потом вспомнил все до мелочи. Каждое его движение и слово. Было у меня потом время сто раз все вспомнить, в памяти перебрать.

Достал Клямин и себе париросу, стал закуривать, а руки дрожат. Две спички сломал, третью зажег. Что, говорю, с тобой? А тут как раз звонки. Пять звонков. Я говорю: "Идут все-таки". А он как заорет: "Кто, кто, кто идет??" И вдруг кинулся открывать. Я подумал: "абсолютно ненормальный".

Слышу дверь открылась, захлопнулась. И никого. Тихо. Потом голос в передней - говорит быстро, негромко, будто сухой горох сыплется. Я выхожу. У дверей дворник в белом фартуке, тетка в платке, трое военных. Двое с винтовками, один с револьвером в кобуре - старший. Старший стоит в стороне, и Клямин ему что-то вполголоса толкует и пальцем пуговицу на шинели нажимает. Щеки горят, глаза скошены. Меня будто ножом под лопатку ударили - он знал, он их ждал.

А старший протягивает мне ордер - обыск и арест. Нас с Кляминим просят в комнату. Красноармейцы становятся у дверей. Старший сразу к этажерке и за однотомник Пушкина. А в нем все наши речи "адвокатские". Потом матрац подняли. У меня там только носки лежали. А тут, вижу, пачка бумажек, отпечатаны на машинке. Спрашивают: "Это ваше?" Отвечаю: "нет". "А чье же?" Говорю: "Не знаю, я туда ничего не клал". "А куда клали? Забыли? Ну, еще вспомните".

С этим меня и увели, а Клямин остался.

В первую тюремную ночь все стало ясно мне - будто в эту бессонную ночь я негатив проявлял. Сначала выступило одно, потом другое и наконец

видна стала вся картина. Фотография друга нашего - Василия Мефодиевича Клямина.

Боялся я очень за Яшу, за Бориса. За себя почему-то нет. Моего тут, написанного, ничего не было в однотольнике. Тогда я еще верил: во всем разберутся, Клямина накажут, меня выпустят. Молод я был, молод и доверчив.

Меня звали Федор. Мне было двадцать два.

Яков сказал:

- А меня накануне взяли. В среду. И за час до того, как они пришли, позвонил Клямин: "Ты помнишь, что мы с тобой завтра у Феде; ты готов?" Я ответил, что пишу, готовлюсь. У меня была тетрадка с заметками. И еще книжка, очень любопытная, тогда уже запрещенная "Уроки Октября". Сам же Клямин и принес ее мне, дня три перед тем. В тот же вечер был арестован Борис. С ним мы потом встретились. С Федей - нет.

Заговорил Борис:

- Да, за мной пришли в среду. Трое военных. Тот, что ордер предъявлял, вдруг руку отдернул. Ошибся. Но я успел прочесть Федину фамилию. Сердце у меня стукнуло. Весь вечер, полночи, пока они рылись у нас, я думал об одном - как предупредить Федею. Даже не глядел: где ищут, что ломают. Ничего, кроме газетных подшивок, у меня не было. Правда, газеты все расчерчены, с пометками на полях.

Мои все расстроены, мать плачет, меня спрашивает, что я сделал. На нее цыкают. Я говорю: "Мама, успокойся, это недоразумение, нет за мной никаких дел". На меня кричат, угрожают. А я опять о Феде - как ему сообщить, как предупредить, ведь у него все писания наши. Федей казался мне беззащитным, слабым. Может, потому, что был добр и

все готов отдать, может, потому, что стихи писал, мне это казалось не мужским делом. И рязанский он был, в Москве еще не обтерся – доверчивый, простой. Или я предчувствовал, что на него все навесят? Так и вышло. Он оказался "главой организации", комнатешка его – "центром".

Изныл я в ту ночь, думая о Феде. На рассвете меня уводили. И как пошли, легче стало. Шаггал посреди мостовой, двое с винтовками наперевес по сторонам, старший с рукой на кобуре – позади. Преступника ведут! А в чем дело?

С первых же допросов стало ясно, что дела никакого нет. В ГПУ про нас знали всё, всё до фактика, но к этому прибавили вагон вранья, чепухи.

Яков перебил:

– Нет, не чепухи. Чепухи не было. Каждый факт нашел место в строго продуманном сценарии. Автором его был человек неглупый, Ве Эм Клямин. Он же и осуществил постановку, направляя и толкая нас, распоряжаясь нами, как пешками. И мы покорно шли за режиссером-provokatorом. В сценарии было все: подпольная организация с центром, скрытым в большой коммунальной квартире, заготовка текста для листовок в защиту врагов народа, издание и распространение листовок – пачка их обнаружена у Федора. Нас спрашивали: кто, кроме нас четверых – Клямина называли тоже – принадлежит к организации? Кому мы передавали листовки? Их нам показывали издали. "А что в них? Дайте хоть взглянуть". – "А вы что – печатали, не читая? Читать надо было раньше".

В таком духе шли допросы. А еще были крики, угрозы, кулаки, револьвер у виска, бессонные ночи, обмороки и жажда, жажда... Через пять месяцев приговор: Федору три года одиночного заключения, нам с Борисом по пяти лет концлагеря. А Клямину – ссылка на Колыму.

Нам с Борей счастье улыбнулись: мы пошли одним этапом, в один лагерь. О Феде ничего не знали – когда его повезут, куда, в какую тюрьму. Беспокоились. Одиночка – это страшно. Что Клямин остался в Москве, мы догадались. Не знали только, что живет он в Фединой комнате.

За пять месяцев следствия мы не встретились ни разу. Каждый мучился в одиночестве. Но мысли наши сходились: мы обмануты, преданы, проданы. Истина никого не интересовала. Никто не думал нас спасти и защищать.

Заговорил опять Борис:

– Мы трое не встретились, но Клямина в тюрьме нам показали. Чтобы мы знали – он тоже арестован. Меня вели к фургону, к "черному ворону" во дворе Бутырской. Вдруг вижу: под конвоем идет Клямин. К башне. А в башне держали "особо важных". Мы почти столкнулись, но он меня будто не заметил. Скошенные глаза его глядели в переносицу, на щеках горели красные пятна. Никаких признаков бессонных ночей, жизни впроголодь и без воздуха. Он был таким, как и раньше.

Яков добавил:

– А меня столкнули с ним в коридоре. Тоже будто случайно, хоть все знали, что такие встречи заключенных запрещены.

Федор сказал:

– Нет, мне его не показывали. Должно быть, на меня у него сил не хватило.

Борис вздохнул:

– На Медвежьей через два года узнали мы от одного товарища о смерти Федора. А как, от чего умер – тот не знал. Мы все надеялись, может ошибка.

Заговорил Федор:

– От чего умер? От тоски. Как умирают от тоски... Стал худеть, кашлять. Ничего не хотелось – ни есть, ни спать. Я привык быть с людьми. А тут одиночка. Кругом камень – стены камень, пол – асфальт. Неба – тридцать сантиметров. Молчание. Тишинв. Думал: похоронили заживо. Мать не найдет, куда ей, деревенской женщине. Отец бы нашел, но он погиб в гражданскую. Надя не узнает, что со мной, а узнает – не поймет, да и не пробиться ей ко мне.

И все думал и думал о черной душе иудиной. О тридцати сребрениках, о трех червонцах тех, и еще многих, что он, вероятно, на нас заработал.

Борис сказал:

– Мы с Яшей выдержали – отбыли свой срок. Плохие были, но живые. И тогда нам прибавили еще по десять. Просто так, без объяснений. Второй срок мы не вытянули. Голод источил. Цынга обглодала до костей.

И опять Федор:

– Так кончились наши мечты о больших делах, о великих стройках. А поехали б мы, как мечтали с Борисом раньше, до Клямина, на строительство гиганта металлургии, или на другую всемирно-историческую стройку, и все было бы иначе. И силы бы наши пошли на великое дело социализма.

Яков сказал:

– Мы погибли в самом начале жизни. Ни за что погибли. Нас убили за то, что мы хотели жевать сами, а не глотать разжеванное.

Федор вздохнул:

– О нас забыли. Кто вспоминает таких, как мы?

Теперешние ребята и девчата и не узнают, что были такие судьбы, как наши.

Он помолчал, потом произнес медленно:

- Никто не вспомнит,  
Никто не скажет  
О павших без славы,  
Погибших напрасно...

Мне было страшно. Жалость, тоска, боль сжимали сердце. В те далекие годы я была ребенком, но чувствовала себя виноватой – я не знала, но и не стремилась потом узнать правду.

В наступившей тишине послышалось шуршание веток по крыше машины.

- Куда мы едем? Скажите – куда?

Но меня никто не слышал.

Заговорил седой мужчина с желтым отекившим лицом.

- Меня звали Марком. Мне было сорок пять. Марк Иосифович звали меня. Клямин был у меня в аспирантуре. В тридцать третьем он кончил институт. Его оставили при кафедре. Из моих рук он получил тему, даже начатую другим аспирантом работу. Диссертацию, оставшуюся без хозяина. Автор исчез, как начали тогда исчезать люди.

Остался материал по обширной экономической теме, план, наброски. Ничего оригинального, добросовестный компилятивный труд. Я предложил Клямину продолжить, дополнить. Клямина выдвигали. Он не казался особенно умным. Но когда человека настойчиво выдвигают, должна быть причина. Такой человек перспективен. Известно, он пойдет вверх легко. Меня это соблазнило. Клямин быстро вошел в курс дела, освоил тему. Писал он плохо, неграмотно. Мне пришлось переписывать многое

заново. Клямин бывал у нас. Познакомился с женой – Кирианой Павловной. Мы с ним работали по долгу, я оставлял его ужинать, пили чай. Кира его привечала, он ее забавлял.

...Налаженная жизнь. Комфортабельная квартира. Я много работал. И не хотел, чтобы работала Кира. Она училась на курсах иностранных языков, переводила немного. Она была молода, хороша. Мне было в радость ее баловать, чем только можно.

Казалось, Клямину нравилась моя жена. Он оживлялся в ее присутствии – острил, шутил, рассказывал смешные истории. Я не ревновал. Конечно, я был старше. Но я был профессор, я был мужчина, про каких говорят "видный". А Клямин? Клямин был роста маленького, близорук, голова яйцеобразной формы и ранняя лысина, очень заметная. Не мог он понравиться Кире. Но она ему нравилась, я знал: так и вьется-вьется вокруг нее. "Он тебе не надоел?" – спрашиваю. – "Пускай себе, он забавный".

Оказалось, совсем не забавный.

Время наступало страшное. Тридцать четвертый год разорвался над нами осколочной бомбой. Убили Кирова. Начались поиски преступников. Истинный убийца искал "убийц". Хватали направо и налево, тюрьмы наполнялись. Малейшая неосторожность, лишнее слово – и ты погиб. Твой вчерашний гость объявлен врагом народа. И потянулась цепочка арестов: родные, друзья, знакомые, сослуживцы. Люди начали бояться всего: разговоров, дружеских сборищ, телефонных звонков. Шума боялись. Тишины тоже боялись.

В институте пошли слухи: заканчивается диссертация, написанная по плану и материалам врага народа. Работа вредительская. Подсунул эту работу аспиранту Клямину профессор Красинский.

Тогда я еще не понимал всей опасности. Мне

думалось, что можно найти разумный выход. Надо убедить ученый совет и общественность института, что в диссертации, унаследованной Кляминым, ничего враждебного нет. Был и другой путь: согласиться, что сделана тактическая ошибка, вследствие непродуманности, не более, все бросить и взяться за новую тему.

Мы с Кляминым обсудили оба пути и выбрали первый. Просили выслушать на расширенном заседании кафедры доклад по существу диссертации и отчет о проделанной работе. Договорились, составили вместе тезисы доклада аспиранта Клямина.

Я не знал, что мне приготовлена замаскированная ловушка, не два пути, а два тупика, из которых не выйти. Началось заседание. Клямину дали слово. Слушаю его и не узнаю наших тезисов. Все чаще звучит мое имя. И в каком неожиданном повороте: "По мнению профессора Красинского..." "Профессор Красинский настаивает...", "Профессор предложил развить ту часть, которая вряд ли будет иметь практическое значение". И наконец - "Я не мог переубедить профессора в его настойчивом желании осуществить замысел прежнего автора".

Виновным оказался я, обвинение развивал диссертант Клямин. Правда, он оставался без диссертации, но он это уже учел и просил кафедру о замене темы. Итак, он свернул на второй путь, но свернул один, без меня. По сути я был убит им уже тогда. Только еще не понимал этого. "В чем смысл такой замены?" - удивлялся я, слушая Клямина. Вместо обширной темы с богатой историей вопроса и большой литературой, он собирался взять куцую темочку, практически давно решенную в промышленности.

Только потом я понял: он не менял почти готовую диссертацию на ничтожную работку, нет, нет, - он менял неустроенное существование аспиранта-



холостяка на роскошную профессорскую квартиру и надежду завладеть молодой профессора женой.

Через декаду я был арестован. В деле моем лежало несколько листков бумаги голубоватого цвета, исписанных мелким крючковатым почерком. И бумага и почерк были мне хорошо знакомы. Почти вся диссертация Клямина была написана на этой бумаге, и почерк его давно натрудил мне глаза.

Остальное я узнал через несколько лет от самой Киры. К счастью, ее нет здесь, среди нас. Она жива. Настродалась, но осталась жива. Я хочу рассказать то, что узнал о ней – о ее слабости и силе, о ее борьбе с Кляминым. Надо знать о Кириане, чтобы понять все.

Я попал в лагерь с уголовниками на Воркуте. С уголовниками – значило с правом переписки, с посылками. Посылку, которую я получал раз в месяц от сестер, съедали воры. До моего рта лишь иногда доходили жалкие крохи. Какое это имело значение, когда меня могли каждый день убить или подвергнуть гнусному насилию. Но письма оставались. Писали сестры, Кира молчала.

Вскоре я попал на работу в медпункт. Пожалел меня врач, тоже из заключенных, – подучил, сделал фельдшером. В медпункте пришлось встречать бывших моих мучителей. Блатные отлынивали от работы, – симулировали, использовали малейшее недомогание, ничтожную болячку выдавали за травму, надолго оседали на наших койках. Порой мы были вынуждены попустительствовать матерым бандитам. Но не только от нас получали они побряжки. С воли им передавали – мы не знали, кто и как, – письма, вещи, продукты и деньги, даже большие суммы. Порой они угощали нас, работников медпункта, из своих передач. Но самое главное: мне удалось через "пациентов" отправить Кире письмо. Таким же путем я получил ответ от нее,

единственное ее письмо – тетрадка, исписанная мелким почерком. Пришел этот ответ через год. Из этой тетрадки я узнал, что было с Кирой без меня. Ее рассказ – продолжение нашей истории.

Когда меня арестовали, Клямин кинулся к Кире в притворном горе и страхе. Он оплакивал ее. Ведь ее ожидала ссылка, она должна была лишиться квартиры, вещей. Такова была участь жен "врагов народа", это было известно. Он предложил Кире план спасения – единственно надежного.

Надо немедленно подать заявление о разводе со мной и оформить свой брак с Кляминим. Разумеется, это будет фиктивный брак, он понимает ее состояние. Квартиру надо перевести на него, и тут же уехать в провинцию, к его родителям, взяв с собой наиболее ценные вещи – переждать трудное время.

Клямин был энергичен, напорист, а вокруг было достаточно примеров: жены арестованных, всего лишённые, изгонялись на Север. Он был влюблен, Кира это знала, и, действительно, за нее тревожился. Она ему поверила. Плакала, но согласилась. Она призналась, что принять предложение Клямина ей было страшно, но еще больше боялась она ссылки – холода, одиночества, бедности. Не была она готова к таким испытаниям, моя любимая, избалованная жена. Я ее не виню.

Все было сделано, как предлагал Клямин. Только слово свое о фиктивном браке он держать не хотел, настаивал на близости. Кира не соглашалась. Клямин со своими домогательствами сделался ей противен, она его оттолкнула. Потом удивлялась, почему он сразу же не "посадил" ее и не завладел всем имуществом. Может, дело потому не повернулось трагически, что Кира через три дня после загса уехала к его родителям в Моршанск, распрощавшись с Москвой и нашим домом, как она считала, навсегда.

Клямин проводил ее до места: вещей было много, да и следовало представить родителям жену. Он, действительно, питал к ней какие-то чувства, заботливость и внимание сменялись злостью и раздражением. Кира не терпела его нежностей. Устроив Киру у родителей и сдав матери на сохранение ее драгоценности и меха – я так любил делать ей подарки! – Клямин вернулся в Москву.

Приехал он к молодой жене только летом, в отпуск. Он уверил Киру, что женитьба на ней тяжело отразилась на его карьере, что его отчислили из аспирантуры, что он до сих пор под угрозой ареста, его обвиняют в пособничестве врагам народа. Клямину удалось ее разжалобить, она перестала сопротивляться. Но видно, он уже не так стремился обладать ею, как раньше, и через месяц уехал. Обещал вскоре вернуться, однако пропал на год. Кира жалела об их сближении, его поведение оскорбляло ее.

Год жизни у родителей Клямина изменил Киру, сделал ее совсем другим человеком.

Она была одинока и несчастна. Клямины были совершенно чужими людьми. Скупые, жадные, а мать властная и грубая. При Кире, не стесняясь, жалели они сына, связавшегося с "враждебными элементами", женившегося на "жидовской жене". Они попрекали Киру хлебом, называли "иждивенкой" и "барыней". Клямин категорически запретил ей устраиваться на работу – пришлось бы заполнять анкету, а из нее выяснилось бы прошлое Киры и открылся бы ее брак с Кляминым. Они все этого боялись. Кира не хотела быть в тягость, пыталась продать что-либо из своих вещей, но свекровь протестовала. Она требовала тайности, осторожности, ссылаясь на опасность, им угрожающую. Продавать Кирины ценности могла только сама Клямина – секретно, через верных людей. О вырученных

деньгах Кира ничего не слышала, никогда их не видела, они засчитывались за ее питание. Но быть сытой доводилось редко.

Кира терпела униженья, мучилась тем, что оставила меня, связалась с мерзавцем. Плохо спала, плакала, худела. И, наконец, решила бежать. Именно бежать. Клямин просил мамашу не отпускать Киру, не давать ни вещей, ни денег. Все это она узнала из обрывков случайно услышанных разговоров. Да они и не стеснялись, и многое говорилось прямо при Кире. Родители Клямина следили за ней, она это знала.

Чтобы раздобыть хоть сколько-то денег на дорогу, Кире пришлось продать платье и зимнее пальто — эти вещи не были спрятаны. Зима еще не наступила, Кира ходила в осеннем, а шерстяное платье она надевала редко, носила юбку с кофточкой.

Старая Клямина имела привычку спать после обеда. В этот час, накануне отъезда, Кира сбегала на барахолку и на вокзал, они были рядом. Билет она спрятала под рваную подкладку сумочки — свекровь часто проверяла, нет ли в сумке письма или денег. Сутки прожила Кира в страхе, в счастливом ожидании, и ушла из дома в час послеобеденного сна старухи с одной только сумочкой в руках.

Приехала Кира в Москву рано утром. Часов до одиннадцати сидела на вокзале, потом пошла к нашему дому. Долго ходила по улице, приглядывалась, не решаясь подойти. Ключи от квартиры у нее были, к счастью, Клямин не догадался их отобрать. Но как страшно ей было, как боялась она встретить Клямина! Наконец, решила войти, проскользнула в подъезд, поднялась на пятый этаж, позвонила к соседке, пожилой женщине, ранее к ней доброй, та встретила ее холодно, осуждала из-за меня. "Вы

приехали за письмом?" – сухо спросила соседка. Кира не поняла, о каком письме речь. Оказалось, дней десять назад соседка встретила на лестнице "господина с бандитским лицом". Он искал Киру, чтобы передать ей письмо от мужа из лагеря (Я написал на конверте "Умоляю передать моей жене Кире Павловне в собственные руки"). Услышав про письмо, Кира лишилась чувств. Соседка подняла ее, напоила крепким чаем, сказала, что убедила "господина" не отдавать письмо Клямину ("Уж лучше сразу отнести его на Лубянку"). Хорошо, что она не сожгла письмо, хотя каждый день собиралась это сделать, но каждый раз откладывала еще на день. "Я чувствовала, я знала, что мне надо ехать", – твердила Кира, плача над моим письмом. Соседка торопила: Клямин иногда приходил домой среди дня, а через два часа придет ее сын, который ничего не должен знать. Что Кира собирается делать? Взять кое-что из одежды и тотчас ехать к сестре в Одессу. Кира уже успела сказать соседке, что бежит от Клямина, от его родителей, "от всего этого ужаса". На самом деле она уезжала не в Одессу, а в Ленинград, к двоюродной сестре, о которой Клямин не знал. Соседка рассказала Кире, что Клямин защитил диссертацию, работает в том же институте, недавно продал наш рояль.

Кира пошла в квартиру, а соседка следила из окна за улицей – предупредить, если появится Клямин. В ящике моего письменного стола Кира увидела свои бриллианты – кольцо, серьги и брошь, – подарок мой к свадьбе. Как они оказались тут, ведь она увезла их, отдала на сохранение свекрови? В столе лежала книжка сберкассы, а в ней толстая пачка сторублевок; может, деньги, полученные за рояль? Кира не решилась трогать драгоценности, взяла одну сторублевую бумажку. Сняла с полатей маленький чемодан, бросила в него что-то из пла-

твев, схватила свой пуховый платок, обвязалась им, надела старое пальто и тихо заперла двери. Соседка уже ждала ее на пороге, передала сверток с едой. Кира поблагодарила за все и поспешила на вокзал. Дневной поезд уходил через час. Этот час она простояла в дамской комнате: боялась – вдруг ее кто-нибудь видел, вдруг сказали Клямину, и он кинется искать по вокзалам. Теперь, когда из моего письма она узнала о нем все, он был ей еще более страшен. Только потом, в поезде, она успокоилась, поняла: он стал бы искать ее на Киевском, не на Ленинградском, да если ее и видел кто, то вряд ли узнал в шуплой, плохо одетой женщине нарядную, богатую профессоршу.

Муж Кириной сестры был добрым и смелым человеком. Он прописал ее у себя в Детском селе и устроил на работу в интернат детей-иностранцев. Кира специальности не имела, но хорошо знала французский и немецкий.

Клямин, конечно, мог ее отыскать, и если не делал этого, значит имел свой расчет: обнаруживать ее было невыгодно.

Больше о Кире не знаю. И как ей удалось передать мне свое письмо-тетрадку, не знаю тоже.

Началась война. Лагеря стали перетряхивать, заключенных пересортировывать. Одни были предназначены к быстрейшему уничтожению, другие – к медленной смерти. Отдельных счастливых отправляли воевать. Многие просились на фронт, но не получали ответа. Меня перевели на физическую работу. На нее не хватало сил – лагерь истощил меня. Работа все тяжелела, хлебные пайки усыхали. Угасая, вспоминал я Киру. Она просила в своем письме прощения за слабость свою, за страх. Виноватой я ее не считал, не укорял, искренно желал ей счастья, или покоя. Покой и был теперь счастьем.

В сорок четвертом я слег. Смерть-избавитель-

ница пришла ко мне тихо на рассвете. Меня звали Марком. Марк, сын Иосифа, был я. Мне было пятьдесят.

Старик умолк.

Заговорил мужчина в гимнастерке, худой, с крупными чертами лица, с горящими глазами.

– Меня звали Петр. Умер я в сорок лет.

Встретил я Киру в Ленинграде в тридцать седьмом, когда был молод и беспечен. Нечаянная встреча у общих знакомых. Удивительные глаза ее – серые с темными точечками, – сияли, она была весела, двигалась легко, ловко. Не верилось, что она меня старше, а мне было двадцать пять. Она хотела меня завоевать, и я покорился охотно. Вышли вместе, я пошел провожать. Шли медленно по тихим ночным улицам. Вдруг она спросила, куда мы идем? Я даже остановился, но ответил спокойно "ко мне". И мы пошли. Я подумал – "какая легкая победа".

Утром проснулся от ее взгляда. Она сидела напротив меня, прижимая к груди простыню. Руки у нее были худые, плечи угловатые. А глаза покорные и печальные. "Я тебя люблю", – сказала она обреченно, будто удивляясь. Я не поверил, не знал, что это и вправду так, не понимал цены удивительного, с неба упавшего дара. И отвечал поцелуями и ласками, чтобы не говорить.

Свиданья продолжались. Они были редки. Я ждал ее с трепетом, но назвать это любовью не мог.

Был я тогда молод, красив, избалован, к людям невнимателен. Не спрашивал у Киры, почему она живет за городом, работает в каком-то интернате, а не переводчицей, например. Был я второй год в аспирантуре, ярмо повседневной работы не терло мне шею. Родители мои, школьные педагоги, жили на периферии, надзором не докучали, помогали

как могли. Родственница, отдавшая мне одну из двух комнат и ключи от квартиры, в мои дела не вмешивалась. Наслаждаясь свободой, я был поглощен собой и жизни не знал. Конечно, я слышал об арестах, но они происходили вдали, меня не касались. Я говорил себе то же, что говорили другие, оказавшиеся в спокойной зоне: "дыма без огня не бывает".

Если бы я подольше смотрел в Кирины глаза, может, я разглядел бы спрятанный в глубине страх. Но я замечал только радость, временами усталость и тогда обижался.

Иногда она приезжала неожиданно. Эти встречи были особенно радостными. Мы предавались любви неистово. За окном, выходящим на набережную, дышала полноводная Нева. В тишине светлой ночи были слышны ее всплески. Старинные здания на другом берегу стояли торжественно и тихо - казалось, вечность сторожит нас.

Было лето в начале. Вот тут и произошел странный случай, внезапно все изменивший, изменивший всю мою жизнь.

К нам в институт приехал доцент сходного института из Москвы. Было трудно с гостиницами, декан попросил меня принять гостя, просил о внимании. Узнав, что всего на три дня, я согласился.

В конце рабочего дня я зашел к декану - познакомиться с приезжим. Москвич мне не понравился. Нехотя подал он мне вялую руку и представился: Клямин. Оглядел меня быстрым деловым взглядом и спрятался за толстыми стеклами очков. Он был гораздо ниже меня, так что плешь его, прикрытая прядями рыжих волос, была мне хорошо видна. Я догадался, что гость мой спесив и недобр, как многие малорослые мужчины. Декан заметил мою неприязнь и, провожая, тихонько похлопал меня по спине, напоминая о приветливости.



Гость есть гость – я старался быть любезным. Накормил ужином, и бутылка нашлась. За столом поговорили. Он меня расспрашивал об институте, о моих делах, о декане. Была в его вопросах неприятная вьедливость. Говорить с ним не хотелось, я принялся готовить постели: ему на тахте, себе на раскладушке.

Мы еще не легли, как раздались три быстрых легких звонка. Так звонила только Кира. Я побежал открывать, схватил ее, поднял, вспомнил: "Вот обида – у меня постоялец". Кира спросила тихо – почему "постоялец"? Я объяснил, шутливо кляня шепотом и директора, и гостя. Она рассмеялась. Редкие люди смеются красиво, у нее смех был прелестный. "Может, зайдешь на минутку?" – "А он приятный, твой гость?" – "Вот такой", – ответил я: чуть присел, сощурился, скосил глаза и вытянул лицо. Мне нравилось ее смешить. "Не зайду, – ответила она, нахмурившись, – не кривляйся, противно. Проводи меня". И она потянула меня за рукав к дверям.

Прогулка наша затянулась, расставаться, как всегда, не хотелось. Когда я вернулся, гость уже спал.

Утром он спросил: "А кто это приходил к вам вечером?" Я удивился его нахальству. "Это ко мне", – буркнул я. "У нее удивительно музыкальный смех", – сказал он с непонятным раздражением. Я промолчал.

У меня была Кирина фотография. Я стащил у нее как-то из сумочки. Маленькая, с белым уголком – для документов. Она лежала у меня на письменном столе под стеклом. Вечером, выйдя из ванной, я застал Клямина с Кириной карточкой в руках. Он разглядывал ее, сняв очки, поднеся близко к лицу, поворачиваясь то одним, то другим глазом. Потом надел очки и стал смотреть сквозь стекла. Он был так поглощен, что не сразу заметил меня.

- Ваша знакомая? Не вчерашняя ли? - и он нагло впился в меня взглядом.

- Дайте, - я выдернул карточку у него из рук. - Не надо здесь ничего трогать.

Мне был неприятен его интерес к Кире, он тревожил меня. И все же я не удержался:

- Вы что - ее знаете?

- Нет-нет-нет, меня просто заинтересовало это лицо...

И он понес какую-то ерунду о женщинах.

Через два дня Клямин уехал, я убрал комнату и сразу о нем забыл.

А потом приехала Кира. Как я соскучился! Любил я ее все больше и сильнее, но почему-то не говорил с ней об этом, должно быть, нам не хватало времени на разговоры о любви, а может, мне думалось тогда, что, заговори я о своих чувствах, как тотчас надо будет устраивать жизнь вместе, а я не был к этому готов. Она приходила, она со мной - и я забывал обо всем. И в этот раз мы забылись так, что закат приняли за рассвет. Оба были голодны, я вышел в кухню - сварить кофе.

Когда я вернулся в комнату, Кира стояла у окна босая, полуодетая со своей фотографией в руках.

- Что это? - спросила она испуганно. - Кто это сделал?

Я наклонился к ее ладони. Лицо на фотографии было стерто, на сером мутном пятне виднелся след от пальца. Палец давил, тер, соскребал с лица глаза, нос, губы...

- Вот сволочь! - обозлился я. - Только он мог это сделать. Кроме этого проклятого Клямина здесь никого не было.

Я увидел, как из Киры уходит свет, как темнеет, гаснет ее лицо. Оно стало бледным, какого-то зеленоватого оттенка. Мне казалось, что она сейчас упадет, я обхватил ее за плечи, прижал к себе.

– Оставь, – сказала она, отстраняясь. – Мы пропали.

И она замолчала, глядя на темную Неву.

Я спрашивал у Киры, кто такой Клямин? Откуда она его знает? Почему так испугалась? Она застыла и, казалось, меня не слышит. Я отогревал поцелуями ее похолодевшие руки, потом сжал ладонями ее лицо, повернул к себе. Она закрыла глаза.

– Ты молчишь? Заперлась на замок. Ладно. Не говори ничего. Но сейчас же забудь все, что у тебя было с этим... с этой... Забудь навсегда!

Почему я не сказал ей в ту минуту, что люблю ее; что не могу без нее? Почему не увез куда-нибудь, где бы нас никто не нашел? А она уже была беременна, но еще не знала об этом...

– Прощай, – сказала вдруг Кира, – мы должны расстаться. Нам нельзя больше видеться. Клямин страшный человек. Чудовище. Он будет искать меня, он может загубить тебя, если узнает про нас. Боже мой, он уже догадался, он подозревает о наших отношениях. Обещай мне, что будешь осторожен...

Кира тревожилась обо мне.

Она отказалась от еды, торопилась уйти. Запретила мне проводить ее. Я обиделся – что за тайная власть над ней у этого карлика? Почему она не хочет мне довериться?

Кира прильнула ко мне. Лицо ее было влажным от слез. Она прощалась со мной, а я все еще не верил, что это серьезно. Я просил ее успокоиться и написать – куда мне прийти, приехать, когда и где мы увидимся. "Успокойся, – просил я, – успокойся, забудь о нем и позови меня".

Кира слушала меня и кивала головой. Что-то механическое было в этом движении. Как же я в тревоге и растерянности не узнал тогда ее адреса?

Мог ли я поверить, что мы прощаемся навсегда? Она так решила, думая, быть может, что спасает меня.

И опять я не сказал, что люблю ее, а это было самым нужным.

Я стоял и слушал, как затихает стук ее каблучков на лестнице, не выдержал, кинулся вслед. Почему я должен слушаться женщины, обезумевшей от непонятого страха?

Но, видно, она ожидала, что я побегу за ней, и спряталась – может, в одном из подъездов, или свернула во двор. Я ее не нашел. "Это пройдет, – утешал я себя, – все это нервы, настроение, пройдет через несколько дней".

Прошла неделя. Кира молчала. А вскоре я узнал, что она уехала из Ленинграда совсем. Люди, у которых мы когда-то познакомились, ничего не могли сказать – либо не знали, либо не доверяли мне. В эти годы осторожность и недоверие сковывали всех.

Кира исчезла из моей жизни на много лет. Забыть ее я не мог. Тосковал, винил себя. В тридцать девятом пошел на фронт. Вернулся, окончил и защитил диссертацию. Снова затосковал отчаянно. Пытался искать – безуспешно.

Соединила нас война. Мы нашли друг друга в последнюю военную зиму в далеком сибирском городе. Я поправлялся в госпитале после тяжелого ранения. Простреленное легкое, два ордена, медаль "За отвагу" – вот с чем я вышел из войны. Смерть меня пощадила, хоть временами конец был близок. Все страшное было позади. Выписывать нас не спешили, фронт был далеко, поток раненых иссякал, нам давали окрепнуть, набраться сил.

В день советской армии для солдат устроили праздник. В концерте участвовала местная самодеятельность. Выступал хор швейной фабрики.

Швеи, – усталые женщины и молоденькие бледные девчонки, – нарядившиеся в самодельные сарафаны и пестрые платочки, порадовали нас простым теплом, женской привлекательностью, ласковым вниманием. Их пригласили поужинать с нами. Выздоровливающие сели за стол вместе с гостями, и столовая загудела от голосов и смеха. И вдруг я услышал Киру. Ее смех. Ошибиться я не мог. Бросился искать. Кира в голубом платочке смеялась шуткам соседа-весельчака.

Я выхватил ее из-за стола, то прижимал к себе, то отстранял, чтобы взглянуть, убедиться, что это действительно она.

– Это ты? – спросила Кира тихо. – Боже мой, неужели это правда?

Она заплакала. Все кругом замерли и смотрели на нас. Вдруг женский голос крикнул:

– Петенька, бежи скорей, твой папка нашелся!

К нам подошел и робко остановился поодаль тоненький высокий мальчик – наш сын.

Мы уехали к моим старикам, в тихий городок, не разбитый войной, только замученный ею, как все русские города. Надо было прийти в себя, набраться сил. Кира рассказала о себе все – о том, что было до меня, о том, как жила без меня.

Кончилась война, прошел год. Пора было возвращаться домой, в Ленинград, устраивать нашу жизнь. Там ждала меня комната, полученная перед войной, там была моя работа.

”Я счастлива и мне страшно”, – говорила Кира.

Я убеждал:

– Что может быть страшнее войны? Теперь наступило другое время. Все мелкое, ложное сгорело в огне боев. Столько отдано жизнью, чтобы отстоять нашу страну. Страну и государство. Можно ли подумать, что государство не ответит на это благодарностью? Мы чтим память погибших, но жертвы

войны не только убитые, а также миллионы живых. Одним она отрубила руки и ноги, у других отняла родных, а третьи, не вынеся ее ужасов, потеряли рассудок, еще есть множество раздавленных горем.

А мы, солдаты, оставшиеся в живых, не обрубленные войной, не потерявшие рассудок, — разве мы не измучены? Сколько раз мы прощались с жизнью под снарядами, под бомбами, под земляными завалами. Мы голодали, мерзли, тонули, болели на ходу и на ходу спали. В окружении прятались по лесам и болотам, пробивались к своим, ползли и хромали в окровавленных повязках, тащили, теряя силы, раненых.

Измолотые, измотанные войной ждут единственной награды — мира. Полного настоящего мира. Не может быть, чтобы наша страна не дала нам этой награды.

Так говорил я — не раз, не два, и Кира поверила. Прошло около полугода, и она согласилась отпустить меня в Ленинград. Можно ли будет там жить с семьей? Цела ли моя квартира? Мы ждали второго ребенка.

Отец и мать не хотели расставаться с нами: нельзя подвергать детей лишениям, здесь сад, огород — воздух, витамины. Они прожили здесь всю жизнь, работая в школе, почему бы мне не работать, как они? "Ты здесь родился и вырос, твоим детям и жене будет хорошо у нас, и нам не будет так одиноко". Все это так, мы колебались, решили подождать рождения ребенка. И все же, поняв дочку, подождав Кириноho выздоровления, я отправился на разведку. Мне хотелось настоящей большой работы, отдачи всех сил и знаний. Теперь, когда надо было выводить из разорения страну, наш город, моя специальность инженера-экономиста по машиностроению была нужнее, чем работа в школе.

В августе сорок восьмого я привез Киру и детей в Ленинград. Жизнь закипела, зашумела, наполнилась множеством хлопот. Было нелегко, но радостно. Кира, семья, дом – все было для меня внове, все – дар судьбы. Но как главное чудо принимал я сына. Мальчик, похожий на меня, только глаза Кирины, – мой большой сын.

В кипении новой жизни совсем незаметно прошла моя встреча с Кляминим. На конференции, посвященной проблемам увеличения технических мощностей машиностроения, Клямин подошел ко мне. У меня не было к нему прежнего недоброго чувства. Кстати, он изменился – стал как-то осанистее, голова выбрита, плешь незаметна. В общем, противен он мне не был. Я помнил, что рассказывала Кира, но признаюсь, все ее страхи казались мне сильно преувеличенными, да и давно все это было, и война отделила то время от нашего.

Мы поговорили. Разговор был обыденным, обмен несколькими вежливыми фразами. Ничего не значащий разговор. Содержателен был только конец.

Я: Война кончилась, но не так просто ее забыть.

Он: Война никогда не кончается. Видимая переходит в скрытую, одно оружие заменяется другим, тайные враги...

Я: И все же наступает мир...

Он: Не взрываются бомбы? Не стреляют пушки? Но подспудная разрушительная работа не прекращается.

Я: Отдохнем от стрельбы, разрушений, вражды... Поверим в мир! И поверим миру.

Рассказывать Кире об этой встрече я не стал – пусть забудет о Клямине навсегда. Я тоже скоро забыл о нем.

Примерно через месяц я получил из ГДР бандероль. Технический журнал и проспект по тяже-

лomu машиностроению. От какого-то Франца Вейсфогеля. Я такого не знал и счел это просто ошибкой. Бандероль простая, журнал копеечный, я его полистал и бросил на полку.

В следующем месяце опять пришла бандероль, с другим журналом, иллюстрированным фотографиями станков. Обложки почему-то не было. Обратного адреса тоже. Только имя - тот же Вейсфогель. И опять я, полистав, отбросил журнал, назвав немца растяпой.

Сто ночных часов красноглазый следователь по фамилии Возняков допрашивал меня, кто такой Вейсфогель. Агент иностранной разведки Вейсфогель, посылающий мне шифровки в журналах. Связой Вейсфогель, передающий мне указания шпионского центра. Фашист Вейсфогель, завербовавший меня еще в сорок втором году, когда я пробыл десять дней в окружении. Троцкист и жид Вейсфогель, пробирающийся в Советский Союз. Гитлеровский недобиток Вейсфогель, снюхавшийся с ЦРУ. Родственник мой Белоконь, выдающий себя за некоего Вейсфогеля, бывший полицей и т. д., и т. д., и т. д.

Красноглазый еженощно развивал и усложнял выдумку, запутывал сюжет, запутываясь в нем сам. Моя вялая от бессонницы голова падала на грудь и дергалась от удара. Я взбадривался, но ненадолго. Красноглазый визжал, махал перед моим лицом револьвером. Со связанными руками падал я, как мешок, со стула. Поднимали, хлопали по щекам, усаживали, показывали издали стакан с водой: "говори, дадим пить". В ушах звенело от бредовой чепухи, пересыпанной матом: подрывная работа... взрывчатка... подрывник... взрыв Смольного... укрепление связей с Западом... сбор информации... И концовка - "измена Родине".

На десятую ночь, после десяти суток без сна, я подписал, не читая, сочинение красноглазого.



Измена Родине? Ложь. Все ложь.

Возьми меня в свои теплые руки, Родина. Уложи меня спать. Не буди, не поднимай. Прими меня, Родина, в темные недра свои. Усыпи, упокой.

Не я изменил Родине, это она изменила мне. Я защищал ее, она убивала меня. Убивала руками своих врагов. Ибо убийцами невинных могли быть только враги Родины.

В лагере особого режима – Речлаге, были многие сотни таких, как я. Людей обвиняли в измене за то, что они не застрелились, а попали в плен (это называлось "сдались в плен"); вышли из окружения не батальоном, а небольшой группой или в одиночку ("пробрались в расположение наших войск"); потеряли оружие ("бросили оружие"); не сохранили документов ("уничтожили документы").

Все человеческое, простое, понятное каждому, кто воевал, искажалось в мозгу жестокого маньяка, больного от неверия, подозрений и страха. Наскоро сработанные следователями дела "изменников" были вариантами одного бреда. Ни правосудия, ни закона не было дано нам. Чудовищная рожа с остекленелыми глазами, угрожая, запугивая, кривлялась перед каждым из нас. Скрюченные пальцы безумного подбиралась к горлу – давить, душить. Маньяк требовал жертв.

Все мы, вырвавшиеся из одного ада, вверглись в другой. Наш долгожданный выстраданный мир! Тысячи солдат, кого обошла смерть на фронте, попали за колючую проволоку на своей земле. Им пришлось умирать медленно, мучительно от голода, холода, непосильного труда и жестокостей.

Многое, неведомое мне, узнал я в Речлаге о прошлых, довоенных годах. Здесь погибали, завещая товарищам рассказ о своей судьбе. Рассказы эти переживали рассказчиков, расходились по лагерям, временами вырывались на волю.

Прошло четыре года – сначала в шахте, под землей, потом наверху. Четыре долгих года без писем, без вестей.

И вдруг как ракета вспыхнула над нами, просияла новость. "Ребята, Синус загнулся!" – крикнул бригадир, вернувшись от механика из пункта обслуживания подъемников. Секунда тишины и – взрыв радости.

Когда смену привели в зону, нас не распустили по баракам, велели построиться. Появился начальник лагеря. Он объявил о смерти Сталина. "Шапки снять!" – гаркнул начальник караула. Нехотя обнажили мы головы. И вдруг шапки взлетели над темной толпой, будто выпущенные на волю птицы, это был наш салют грядущей свободе. Охрана замерла: ни выстрела, ни окрика. В это мгновение мы почувствовали себя вновь людьми.

С этого дня мы стали ждать перемен. Наступали новые времена. Только медленно они наступали. Сначала нам разрешили переписку, посылки, потом – свидания.

Дождался и я Кириного приезда. Но встреча не принесла радости. Кира была напугана моей худобой, кашлем – он мучил меня уже два месяца. Свидание было тревожным. Кира не могла удержать слез, я боялся ее огорчить еще больше. Мы скрывали друг от друга подробности своей жизни. Она не решалась сообщить мне о смерти матери. Только в день отъезда, за несколько часов до прощанья, мы заговорили обо всем. Но пора было расставаться.

Через год меня выпустили. Я был "съяктирован" – списан по состоянию здоровья. Так списывают отработавший станок, выбрасывают истертую ветошь. У меня открылся туберкулез легких.

Кира делала все, чтобы спасти меня: устроила в лучшую загородную больницу, потом в санаторий, но пришлось вернуться в больницу, достала редкий заграничный препарат. Все было напрасно.

Исколотый, с легкими, поджатыми пневмотораксом, выпросился я домой. Жизни мне было отмерено всего тридцать дней. О том, что конец близок, знали мы оба. Кира смотрела на меня храбро, с отчаянной прямоотой, уверяла, что скоро мне станет лучше, но в глазах ее были страх и тоска.

Детей мы отправили к деду, – боялись за них. Мы были вдвоем, и всю тяжесть моих последних дней Кира вынесла одна.

Мучительно было умирать на воле, лучше бы там, и для Киры это было бы легче. Так думал я, но не она. Кто-то приносил для меня кислород, лекарства, какую-то еду для нас, которая уже не была нужна. Кира не отходила от меня, держала за руку – не отпускала. Но дышать было нечем – от легких остались одни клочья. Я задыхался. Трудно дышала Кира, казалось, ей тоже не хватает воздуха.

За несколько часов до конца она сказала: "Все, что я знаю о нем, я напишу, непременно напишу". Я понял – она говорит о Клямине.

– Не надо. Опасно, – прошептал я.

– Теперь не опасно. Не бойся за меня, и я теперь ничего не боюсь. Я стала смелой.

Она сказала, что непременно напишет в прокуратуру, в правительство самому Хрущеву, в газеты – всюду.

Я глазами попросил не говорить больше о Клямине. Дыхание рвалось, покидая тело. Кира стояла на коленях, склонив голову, припав лицом к моей руке. Несколько судорожных последних глотков воздуха и спокойный долгий вздох – душа отлетела.

Меня звали Петр. Мне было сорок.

Все замолкли. Казалось, каждый обратился к своей загубленной жизни. И тогда Федор прочитал медленно свои стихи до конца:

Никто не вспомнит,  
Никто не скажет  
О павших без славы,  
Погибших напрасно.

Не врагом убитых  
В бою на войне,  
Замученных дома,  
На родной земле.

О преданных, проданных,  
Оклеветанных, оболганных,  
Заплеванных и затоптанных,  
Навеки запрятанных,

Глубоко закопанных  
В холодной земле.  
Крепко утопанных,  
Гладко закатанных  
Могилах в сырой земле.

И вдруг стало совсем темно. Не светились более бледные лица. Автобус закачало, затрясло, он пошел без дороги, по корням, по мху. Зашуршали ветки по крыше, — мы въехали в лес. Потом медленно повернули. Застучали под колесами доски. Автобус качнулся мягко и стал. Скрипнули, открываясь, дверцы. Пахнуло вечерней прохладой, влажной травой, листьями.

Я вышла первая. Одинокий фонарь, круг неяркого света. Дальше кусты, колыхание веток, игра теней. Дорожка. Впереди темнеет дом. Оглянулась — за мной никого. Тишина. Только ветер порывом прошумел в листьях. Спрашиваю шофера: "а где остальные?"

— Какие "остальные"? Я одну вас привез, другие не захотели.

Заглянула в машину – никого.

Вдруг зажглась яркая лампа на террасе, открылась дверь, и на крыльцо вышла тучная старуха с палкой.

– Привез? – спросила она у шофера низким голосом.

Он промолчал, сделал шаг в сторону. Я подошла ближе.

– Что-то не узнаю, – сказала старуха, – с кем имею честь?

“Не говори. Молчи”, – прошептали слева. “Не молчи. Скажи”, – попросил голос справа.

– Как вас зовут, – спросила женщина, раздражаясь, – что-то не припоминаю. Извините.

– Кириана, – сказала я неожиданно для себя. – Я – Кириана.

– Вы? Вы?! – Старуха стукнула палкой о крыльцо. – Как вы смели? Зачем явились? Ваши проклятые писанья – обличенья, разоблаченья... Все клевета, все – ложь. Вы вогнали его в гроб. Вы, вы! – старуха застучала с такой силой, что крыльцо загудело. – Подумать только, она поехала на похороны! Проклятая обличительница... Вестница Страшного суда! Жена изменника, вражеское отребье...

Старуха кричала, кляная вставными зубами, трясаясь от злобы, а я повторяла настойчиво:

– Да, я – Кириана, да, я – обличительница. И я поклялась говорить правду, одну правду, только правду...

Шаг за шагом я приближалась к ней.

Вдруг старая ведьма с отчаянной силой замахнулась палкой, воздух засвистел у меня в ушах. Удар был нацелен мне в голову, смертельный удар. Я отпрянула, отпрыгнула и неожиданно поднялась в воздух, и полетела – сначала тяжело, потом все легче, все выше. Старуха, ее дом, автобус – все осталось внизу. Кто-то невидимый пролетел мимо –

только ветер поднялся, только засвистел в крыльях и звоном отозвался в ушах. Что это? Кто это? Перелетные птицы? Ветер свистел и все звенело кругом.

Звонил телефон, последний звонок истаявал, когда я проснулась. Что было со мной ночью? Была ли я в автобусе с черной полосой, слушала ли рассказы погибших? Или все это приснилось мне?

Опять телефон. Беру трубку. Вера, бывшая однокурсница. Спрашивает:

- Ты знаешь, что "заслуженного стукача" вчера похоронили?

Так называли в институте профессора Клянина, осторожно, шепотом называли.

В 1949 году, - мы были на третьем курсе, - он возглавлял борьбу с "космополитизмом". Тогда это считалось движением, но некоторым казалось заблуждением. Клянин с ним боролся: одних выжил из института, других сжил со света. Страшный человек. Забыла его имя. Мудреное, выговорить нелегко, зато к нему легко подбирались созвучные прозвища, с ехидным смыслом. Все это пронеслось в памяти. Вера повысила голос:

- Ты слушаешь меня, Лена? Или ты забыла, кто получил прозвище "заслуженного стукача"?

- Помню, конечно, - Клянин, он же Проклянин или Кляттов. Только имя забыла.

- Варул Мираксович!

И я вспомнила: за глаза его называли Варан Мракобесович, Варух Мордасович и еще как-то. При всяком удобном случае он уверял, что имена Варул и Миракс - самые христианские, истинно православные и записаны в святцах.

- Так ты не знала, что он "покинул нас" или, попросту говоря, окачурился? Похороны были вчера.

- Да-да, я была.

- Ты?! Ходила на похороны Варана Мордарьевича?

- Нет-нет, конечно, нет! Но я... возвращалась с похорон. Кажется, именно с его похорон.

- Лена, я что-то не пойму тебя. Ты здорова или еще не проснулась?

- Проснулась. Но еще не пришла в себя. Ты прочла о Клянине. Где?

- Как раз читаю. Вот, послушай: "Много лет профессор В. М. Клянин отдал подготовке молодых кадров... С 1937 года занимал кафедру"... и т. д. Это мы знаем... "Большой вклад в отечественную историческую науку..." И про вклад знаем... М-м-м... "Многие ученики продолжают начатое им дело"... Помилуй Бог! Ну, и еще несколько красивых слов.

- А от чего он умер?

- От долгой и продолжительной болезни. И знаешь, что я узнала: запретил кремацию, велел похоронить на кладбище, заранее определил место и, представь, заказал крест!

- Варан заказал крест?!

- Должно быть, хотел подготовиться к Страшному суду. Помнишь фреску "Воскрешение мертвых"? Отверстые могилы и шествие мертвецов с крестами на плечах?

- Не верю я в это.

- Не веришь, что Варан боится Страшного суда?

- Нет, не верю в Страшный суд, верю в суд памяти.

- А я верю в Страшный суд. Должен кто-то когда-нибудь разобраться.

"Будем надеяться", - подумала я.

1975

## От автора

Пишу не предисловие и не послесловие, а пояснение к повести для тех, кого она когда-либо заинтересует. Печатать ее не предлагаю: и другие, менее острые вещи, мне не удается напечатать, их не принимают. Но, может, дойдет когда-нибудь до печати, пусть нескоро. Так вот к сведению издателей и читателей:

Немало знала я о провокаторах по рассказам очевидцев, по мемуарам. После XX съезда были иллюзии разоблачения и наказания тех, кто создавал "дела" и губил невинных людей. Знаю, что литераторы требовали суда над Эльсбергом, но было отказано, и он мирно, спокойно предавался литературным занятиям и печатался. Все знали о нем, и он знал, что все известно.

Не было ни разоблачений, ни наказаний, и душегубы остались в обществе при своих домах и должностях. Снисходительное отношение к ним, атмосфера терпимости дали им возможность жить спокойно.

Кроме слышанного и читанного был у меня и свой жизненный опыт в студенческие времена, в 20-е годы. Однокурсник наш оказался провокатором и сгубил группу умных и одаренных юношей, желавших одного - самостоятельно разбираться в политике, объективно оценивать события. В "Ночи второй" моей повести изображена эта история в рассказе трех комсомольцев, достоверная в основе, но отступающая от действительности в частности. Провокатор изображен в повести почти с портретным сходством. Я думала сейчас назвать его, но отказалась: если он жив, то уже стар, если умер, возможно, оставил потомство. Зачем задевать детей и внуков, называя его имя? Впрочем, фамилия, которую я дала



провокатору в повести, достаточно близка к подлинной, сохранены также инициалы, хотя имя и отчество изменены. Один из персонажей этой трагической истории, - в повести он назван Федором, - был мне близок. Он один из всех перенес тюрьму и лагерь и дождался реабилитации. Во время следствия, или так называемого следствия, говорил он мне, он имел возможность неоднократно убедиться в предательстве "Клямина".

Обстоятельства ареста "Федора" изображены в повести так, как это происходило в действительности. В тот вечер, когда за "Федором" пришли, я была у него, и пока он выходил за папиросами, видела, как метался и суетился "Клямин", не заставший хозяина дома, как кинулся на звонки открывать двери и как разговаривал, тихо и доверительно, с сотрудниками ГПУ в передней. Одного этого достаточно, чтобы понять его роль в происшедшем.

После 1956 года я встретила "Клямина" на одном литературном вечере - он сидел в зале, немного впереди и сбоку, я смотрела пристально, он повернулся, я убедилась, что не ошиблась, и поняла - он меня узнал. Как только объявили перерыв, "Клямин" исчез.

Клялин - Клямин - Клянин - персонаж, имеющий не один прототип. Это тип, созданный нашим временем, порождение многих обстоятельств, и прежде всего беззакония. Наверное, из многих разновидностей предателей - этот наиболее страшный. Провокатор-организатор, или инициатор, собирающий нескольких молодых людей вокруг дела совершенно невинного или даже без всякого дела, просто общающихся между собой, представляющих дружескую компанию, преподносил их как организацию врагов

народа, контрреволюционеров. О достоверности фактов и доказанности каких-либо действий заботы не было – их не проверяли.

И хотя отошли в прошлое эти годы, как и последующие затем 30-е и послевоенные 40-е, и были признаны ужасные ошибки сталинских времен, так называемой эпохи "культы личности", признаюсь, что "Клямин" страшен мне до сих пор. И сейчас, когда я пишу эти слова, я все еще боюсь его. Его или его тени – не знаю. Но одно это ощущение говорит о многом.

1985

## Птица

### Рассказ

Перед Линой лежала папка с киносценарием, Лина часто задумывалась, смотрела в окно, – работа двигалась медленно. Отсюда, с тринадцатого этажа, открывались городские дали – незастроенные пустыри, вдали за ними тонкие столбики домов, а ближе – купы деревьев с прозрачными кронами, сквозь которые виднелись кресты и пирамидки кладбища.

Но главной красой этого простора было небо. Никогда раньше Лина не видела в городе столько неба. Оно поражало разнообразием картин, было далеким, высоким и в то же время казалось удивительно близким.

Близкими стали птицы, раньше Лина видела их лишь издалека. Вороны и галки пролетали совсем рядом – слышен был свист воздуха в крыльях. На подоконник, куда Лина сыпала крошки, садились малые птахи.